

Платонов и мотив косноязычия.

Чевенгур открывается вводом в повествование персонажа, который почти не говорит: «...прямо из природы. Появляется человек», который незаметно превратится в Захара Павловича, и о котором говорится на странице один, что он «молчал», потому что «человеческое слово было для него что лесной шум для жителя леса – его не слышишь». Мотив бесполезности речи связан с трудностью переложения мысли в речь – мотив, повторяющийся на протяжении всей книги. Чепурный, позже, вводится в повествование бормотанием, в которое он впадает всегда, когда пытается думать. Мышление и превращение мысли в слова новы для него, и «Кто учился думать при революции, тот всегда говорил вслух»...; они приводят его к моральной дилемме, потому что когда он смиренно, почти беспомощно, спрашивает Дванова: «Вот у меня коммунизм стихией прет – могу я его политикой остановить, иль не надо?» (на что Дванов отвечает «Не надо»), он как бы говорит: надо ли мне выражать свои чувства в обычных абстракциях и таким образом, возможно, покончить с ними, или оставить их свободными и живыми, но тогда я должен буду выражать их, запинаясь и спотыкаясь? Мы не можем сказать, выбирает ли он последний вариант *свободно* или вынужден это сделать по какой-то причине, но

этот выбор или квази-выбор лежит в основе речи, которой выражаются все персонажи *Чевенгура*, и языка, которым пишет Платонов сам. В своей новой книге *Деструкция языка и новаторство художественного стиля (по текстам Платонова)*, (Катовице, 1997) Майя Шимонюк выражает мнение, что Чиклин и Жачев из *Котлована*, Чепурный и Копенкин из *Чевенгура* и «целый ряд как будто народных героев из прозы Платонова» совсем не лишены спутанности мыслей, но обладают ясным пониманием – «Непривычным делом для них было только формирование мысли», – и я разделяю этот взгляд, хотя не могу согласиться, что эти персонажи обладают «высшим знанием сути жизни».

Главным образом меня здесь интересует *Чевенгур* – в особенности четыре персонажа этого произведения, которые очевидно представлены как люди, имеющие трудности мышления и говорения, и главный герой Дванов, который тесно связан с этой темой. Но я начну с того, что отмечу элементы этой темы в сериях более ранних рассказов – научно-фантастических рассказов и следующих за ними «страннических» (скитальческих) рассказов.

Я упомяну один короткий эпизод в каждом из четырех основных научных рассказов 1920-х годов. Все четыре («Маркун»,

«Потомки солнца», «Лунная бомба», «Эфирный тракт») повествуют о чем-то прямо противоположном трудностям мышления — о чрезвычайной легкости мышления, рассуждения, придумывания, изобретения, достижения высоких интеллектуальных целей, — и все-таки в каждом из рассказов наступает странный момент безмолвия, остановки ума у самой вершины технологического достижения; и в каждом случае это приводит к прозрению и к изменению направления.

Итак, мы читаем, что когда Маркун в рассказе 1921 года наконец добился того, что его машина заработала, «Все замерло в нем.. Он в первый раз не думал, никакая мысль не вела его»; в результате этой остановки он осознает «что я — ничто.. Только теперь я стал миром», и мысленно оставляет свой проект. В рассказе «Потомки солнца», годом позже, когда наконец все прекрасно работает в лаборатории Вогулова, посвященной тотальному воссозданию вселенной, он «замер у своего механизма-вселенной и мысль у него застыла на миг» - и в этот момент, хотя герой рассказа и не бросает свой проект, автор делает это за него, предлагая читателю понимание того, что гигантские амбиции Вогулова были следствием перенаправления сексуальности в интеллект. Возможно, что Платонов говорит здесь: смотрите, что сексуальная энергия

может совершить, когда отвлекается от своей смертельной естественной цели, но автор также показывает, что пик интеллектуального достижения содержит «замирание» сексуально движимого мозга. Четыре года спустя, в «Лунной бомбе» Крейцкопф на вершине своего достижения, летя близко от луны, внезапно посылает по радио на землю бессмысленное сообщение: «только что вернулся с отвесных гор, где видел мир мумий, лежащий в небрежной траве». В этой загадке слова «мумии, лежащие».. опять предполагают климактерическую неподвижность, за которой следует неожиданное осознание: «люди ошибаются. Мир не совпадает с их знанием», и он бросает свой проект, вылезая из своего космического снаряда. В «Эфирном тракте» два года спустя, когда успешная работа Егора Кирпичникова с электронами получает общественное признание, наступает странный момент, когда над Москвой «синяя заря охватила все небо» и «В первый раз с постройки города .. замолчали: кто говорил, тот оборвал свое слово, кто молчал, тот ничего не воскликнул..». Егор оставляет свой проект и уходит искать «силы, рассеянные по земным дорогам, и под них подставлять голову и тело, как под ливни». Нечто подобное можно сказать об окончании «Епифанских шлюзов», когда Перри перестает думать и его осеняет последняя таинственная «догадка»; хотя в этой более сложной работе этот вопрос тоже более сложен.

Есть ли связь между этим молчанием, этими остановками на пике работы интеллектуальных гигантов и более приземленной немотой полуграмотных крестьянских персонажей, «душевных бедняков» более поздних рассказов – «Ямская слобода», «Усомнившийся Макар», «Сокровенный человек»? Все они явно имеют то общее с научно-фантастическими рассказами, что их герои тоже или не эротичные или анти-эротичные (что мы видели в случае со всеми пятью учеными); их сексуальность направлена не на эрос и семью, а на что-то другое. Но если ученые хотели изменить всю вселенную, то эти герои странствуют, желая изменить самих себя, ища самовыражения. Первые *доходят* до молчания, а вторые *начинают* с молчания. Платонов переключает свое внимание с тех, кто находится в конце процесса мышления на тех, кто находится в начале этого процесса. Но теперь это другой *тип* мышления. В «Ямской слободе» (1927), Филат .. «не мог, как все много работавшие люди, думать сразу – ни с того ни с сего – он сначала что-нибудь чувствовал, а потом его чувство забиралось в голову, грома и изменяя ее нежное устройство. И на первых порах чувство так грубо встряхивало мысль, что она рождалась чудовищем, и ее нельзя было гладко выговорить». О Макаре говорится, что у него «порожня голова», поэтому «Думать он не мог», и он сам говорит: «У меня памяти нет, я человек пустой»; он думает, только когда

перестает работать руками... Пухов в «Сокровенном человеке», конечно, далеко не немой, он так же находчив и разговорчив, как *dobrý voják Швейк* у Гашека – но в то же время он полуграмотный, думает о себе, как о дураке («Я – природный дурак»); он, в соответствии с названием, «скрывает» что-то или что-то скрыто внутри него, что-то, что невозможно выразить повседневной речью; на каком-то уровне он тоже знает, что самое важное словами выразить нельзя. Внутреннее молчание этих трех персонажей в каждом случае связано с положительными качествами – у Филата – с добротой (когда Игнат зовет его «добрый человек», все указывает на то, что это правда); Макар обладает способностью догадываться («думать он не мог, но зато он мог сразу догадывать(ся)»); Пухов обладает свободной и живой личностью.

Проблемы, которые Филат и Макар испытывают с языком, и «скрытый» человек в Пухове указывают на четырех персонажей в *Чевенгуре*, чьи трудности с мышлением и речью их основная характеристика. Захар Павлович, как Филат и Макар (и позже Чиклин), не может думать во время работы, но начинает думать, каждый раз, когда прекращает работу; тогда мысль производит в нем чудовищный страх (напоминающий «чудовище» невысказанной мысли Филата), так например, у него появляется мысль, что

человеческие существа – это черви, а черви это трубки, а внутри их ничего нет, кроме вонючей тьмы. Еще более типично, он ощущает в двигателях «ту же самую горячую взволнованную силу человеческого существа, которая молчит в рабочем человеке, не находя выхода». Захар Павлович никогда не приходит ни к каким заключениям о мире, но он несомненно представлен хорошим человеком.

Другой лучший друг Александра Дванова (как и Захар Павлович, его спасатель, обожатель и спутник жизни), Копенкин имеет похожую проблему самовыражения: он не может говорить гладко больше двух минут, поскольку ненужные мысли приходят и уродуют одна другую; «уродовать» соединяется с чудовищностью процесса мышления Филата и Захара. В то же время он как и Макар обладает способностью, которая компенсирует его неспособность – способность догадываться: его надежная интуиция помогает ему мгновенно и точно увидеть и понять людей, сначала Прокофия, а потом Сербинова. Ценность гладкой речи таким образом постоянно подвергается сомнению, как например в описании самого красноречивого из них – Прокофия.

В обоих случаях, которые я обсуждала, или больше чувства, чем мысли, или больше мыслей, чем можно выразить в словах: это проблема избыточности. В других примерах, которые я приведу из *Чевенгура*, я хочу подчеркнуть что-то другое: неспособность абстрактно мыслить, концентрацию внимания на детали. Мой первый пример – Игнатий Мошонков, который изменяет свое имя на «Федор Достоевский». Когда ему дают совет, как улучшить положение вещей в комунне, он сразу не может его понять, но воспринимает слова медленно и с усилием «превращает их в видимые обстоятельства». Платонов посвящает целый абзац его затруднению. Абстракция доступна ему только через ярко воображаемые местные образы, так что методично он «представляет порожнюю степь в знакомом месте, поименно (переставляет) на нее дворы своего села и (смотрит) как оно получается». Как и у Филата, кажется, что колеса его мозга вращаются медленно, застревают в грязи на дороге, ведущей в гору.

Подобная же трудность понимания общих абстрактных формулировок описывается Пастернаком в рассказе 1917 года «Детство Люверс». Девочка Женя проехала со своей семьей из европейской в азиатскую часть России, и в свой первый же день там



не может оправиться от ощущения умственной усталости от того, что ей пришлось увидеть «перенос этих тяжелых красот» (природы, по которой они проезжали) и осознания значения изменения названия «Европа» на «Азию». Пастернака в отличие от Платонова интересуют другие вопросы: как ребенок познает мир и скрытая аналогия этого процесса с мышлением поэта; и мы всегда ощущаем его внимательный взгляд, его авторское присутствие. У Платонова - все менее обработанное и более непосредственное, автор как бы и не наблюдает, и его персонажи, кажется, потерялись не в психологическом или эстетическом пространстве, но в чужом пространстве истории.

Чепурный тоже второй Филат и «Достоевский». Он тоже не может думать абстрактно, теряется в созерцании детали и не может обобщать, суммировать или, как он это выражает, «формулировать» («Сформулируй (мне), Прошь... Я что-то чувствую.») Показывается, что его мышлению мешает огромная, но неорганизованная память - «Он вбирал в себя жизнь кусками, - в голове его, как в тихом озере, плавали обломки когда-то виденного мира и встреченных событий, но никогда в одно целое эти обломки не слеплялись, не имея для Чепурного ни связи, ни живого смысла. Он помнил плетни в Тамбовской губернии, фамилии и лица нищих, цвет

артиллерийского огня на фронте, знал буквально учение Ленина, но все эти ясные воспоминания плавали в его уме стихийно и никакого полезного понятия не составляли.»

Итак, когда его спрашивают, что такое коммунизм, он не может сказать, хотя он по положению завком, а его речи на комитете так беспомощны, что походят на примитивную поэзию.

Неспособность теоретизировать несомненно является недостатком человека, облеченного властью, и все-таки, противопоставляя ментальность косноязычия и умение гладко выражать свои мысли и теоретизировать, Платонов несомненно ассоциирует последнее с бюрократией, то есть подозрительной сферой существования.

Тот факт, что неспособность этих людей гладко выражать свои мысли рассматривается как достоинство, ясно показано на примере Александра Дванова. Дванов хорошо говорит и читает философские книги. Переход чувства в мысль у него описан таким, какого пытался достичь Филат в раннем рассказе, и чего ощутимо не хватает Мошонкову и Чепурному, только у Дванова это происходит успешно и гладко. (Его) «сердце было постоянно содрогавшейся плотиной от напора вздымающегося озера чувств. Чувства высоко поднимались сердцем и падали по другую сторону его, уже

превращенные в поток облегчающей мысли.» Более того, при свете внутреннего сторожа (наблюдателя) Дванов в состоянии видеть...

«оба пространства – вспухающее теплое озеро чувств и длинную быстроту мысли за плотину, охлаждающейся от своей скорости.»

Тот факт, что его мыслительный процесс описан языком, похожим на косноязычный, указывает на его сходство с другими.

Почему у Александра Дванова нет никакого косноязычия ?

Дело не в том, что он более грамотный – потому что у него появляются самые глубокие мысли как раз тогда, когда он перестает читать; «зря горела лампа в юности Александра Дванова, освещая раздражающие душу страницы книг, которым он позднее все равно не последовал...» И не то, чтобы он был более теоретическим: интересное предложение ближе к концу сообщает, что «Дванов не знал, что хранится в каждом теле человека, а Прокофий знал почти точно...» – редкое ироническое движение со стороны Платонова, поскольку Прокофий, конечно, мог знать это только теоретически. И затем следующее предложение: «Дванов вспоминал многие деревни и города и многих людей в них», – т.е. он вспоминает подробности мест и людей, которые он видел так осязательно и исключительно, как Чепурный видит свои несвязные воспоминания – «а Прокофий

... указывал, что горе в русских деревнях – это есть не мука, а обычай...» и так далее: теоретизирование ведет к пренебрежению реальным человеческим опытом. Не одарен Александр и риторикой убеждения. Другой чрезвычайно интересный отрывок показывает, как во время своих ранних путешествий, он пишет письмо администратору своей области, Шумилину с доводами о том, что низкие земли, которые он посещает, нуждаются в воде, и что надо применить какую-нибудь технологию, чтобы обеспечить их водой. Не то, чтобы он не мог хорошо писать, но он пишет, как поэт, его стиль чрезвычайно верно следует за подробностями его опыта и чувства. Платонов дает нам его письмо в не прямой речи.

Дванов не знал, как начинаются письма, и сообщал Шумилину, что творить у природы нет особого дара, она берет терпением: из Финляндии через равнины и тоскливую долготу времени в Петропавловку приполз валун на языке ледника. Из редких степных балок, из глубоких грунтов надо дать воду в высокую степь, чтобы основать в ней обновленную жизнь. Это ближе, чем притащить валун из Финляндии.

Несомненно, что это самое очаровательное деловое письмо, которое когда-либо приходилось читать? Не только из-за поэтических

выражений – «тоскливая долгота времени», то, что валун «приполз», и образ «язык ледника», но вся цепь мыслей, которая начинается ~~вскоре после делового момента~~, а именно наблюдением совсем платоновски о недружелюбной работе природы, идет через сравнение с валуном, добавляя к основной мысли – о необходимости воды – какое-то эхо радостного языка Революции в словах («обновленная жизнь»), и заканчиваясь прелестной модуляцией, трогательно детским выражением: «Это ближе, чем»...

В двух других недавних работах я предположила, что Александр Дванов может восприниматься как некое мирское подобие Христа. В настоящей работе я выдвигаю предположение, что он во многом является положительным зеркалом по отношению к другим персонажам – что в них отрицательно, в нем часто выглядит положительно, что было в них достойно сожаления, в нем кажется желательным. Главное, они так часто чувствуют себя «пустыми» и поэтому несчастными – Чепурный чувствует себя пустым накануне коммунизма, Захар Павлович боится, что человеческое существо - это пустая трубка, – между тем как в Саше пустота - это несомненное добро, средство единения с миром; он ощущает, что он полый, но это позволяет ветру мира дуть через него. Он же (вместе с Голнером) превращает работу, до того

рассматриваемую как зло, потому что вела к эксплуатации, (хотя и смутно желаемую всеми), в добро. Что касается трудности мышления и говорения, то в Саше борьба за самовыражение становится самоотверженной жизненной миссией. Другие ищут слова для выражения своих чувств, а он ищет слова для выражения чувств вселенной, слова, чтобы выразить то, что как бы испытывают воздух, земля и сама жизнь. «Дванову слышались в воздухе невнятные строфы дневной песни, и он хотел в них вернуть слова». Он понимает, что человеческий язык – это система условностей, которая не возвращает тех слов, что есть пропасть между словами и вещами – он ждет в надежде услышать нужные (правильные) слова. «Он не давал чужого имени открывающейся перед ним безымянной жизни. Однако он не хотел, чтобы мир остался ненареченным, он только ожидал услышать его собственное имя вместо нарочно выдуманных прозваний...» Саша слушает, ощущая, что настоящее понимается не говорением, но слушанием. Это слушание прежде всего подразумевает то, как Тютчев во многих стихах слушал саму вселенную, хотя Платонов далек от того, чтобы сказать «Лишь жить в себе самом умей», и я не думаю, что он боится, что песня ночного ветра поет о «древнем хаосе». Возможно, говоря словами поэта, которого Платонов наверное не читал, это ближе к словам Рильке “Stimmen, Stimmen. Höre, mein Herz, wie

sonst nur Heilige hörten...” («Голоса́, голоса́. Слушай, сердце, как только святые слушали...»)

Филат, Макар, Чепурный и другие не знакомы с лингвистическими условностями. Но обычный язык, как подразумевает Платонов, неадекватно выражает то, что надо сказать. Если мы будем рассматривать этих персонажей как, в каком-то смысле, немых, тогда интересно отметить, что этимологически английское слово «mute» - немой -родственно «mystery» – тайна - через греческое «μυο»: Я закрываю рот (в присутствии тайны). Что-то ждет, чтобы кто-то нашел настоящий язык. Или просто сделал это, без слов, как тот «новый мир», который Саша Дванов носит в себе, который не может быть рассказан, а только сделан. Это относится также к стилю самого Платонова. Писать гладко значило бы присоединиться к литературному потоку уклонения, отступления, приукрашивания, сокрытия, фальсификации. На примере его стиля в романах *Чевенгур* и *Котлован* и некоторых других работ мы ясно видим, что сам он хотел в каком-то смысле открыть собственный язык мира (вселенной).

В заключение: редко в романе Дванов отзывается на какое-нибудь слово, как таковое, поэтому его мгновенное притяжение к слову, к названию «Чевенгур», которое «походило» (для него) «на влекущий гул неизвестной страны...», может указывать на это название как на первое известное слово песни или языка, который он ищет — собственного языка вселенной.